

Шмуэль Йосеф Агнон

ВРАЧ И ИЗТНАННАЯ ИЛИ ЖЕНА

1

Когда я поступил врачом в больницу, была там одна сестра милосердия, белокурая девушка, всеобщая любимица, о которой больные сказывали только хорошее. Стоило им заслышать звук ее шагов, как они приподнимались на кровати и тянули к ней руки, словно ласковое дитя при виде матери, и каждый звал: «Сестрица, сестрица, поди ко мне!» Даже неисправимые ворчуны, которым свет не мил, увидев ее, спешили угодить; морщины на их лицах разглаживались, и раздражение как рукой снимало. Она же и не думала повелевать, но одной ее улыбки хватало, чтобы смирить всякого. А еще более – одного взгляда. Глубокой синевы были у нее глаза, и тот, на кого они обращались, полагал, что важнее его нет в целом свете. Помню, как-то я спросил себя: и откуда в ней такая сила? Но когда ее очи глянули на меня, и со мной сделалось то же, что с больными. Она же ничем меня не выделяла, да и ко всем относилась ровно, ни к кому не выказывая особого расположения.

Но сама ее улыбка и бездонная синева очей добавляли то, что не входило в ее намерения. А как любили и привечали ее, судите по отношению к ней товарок. Даже старшая сестра, заносчивая и тощая сорокалетняя дама с неизменно кислым выражением бескровного лица, которая терпеть не могла ни больных, ни врачей, ни чего другого в мире, за исключением разве черного кофе с подсолненными коржиками да своей собачонки, даже она не имела к чему придраться. Бывало, на всякую молодую девушку смотрит так, будто растерзать готова, а на эту глядит приветливо. О своих коллегах-врачах я и не говорю. Всякий врач, когда ему выпадало с ней дежурить, считал этот день праздником. Даже наш строгий профессор, которому аккуратно застеленная кровать была важнее страданий больного, не возмущался, если заставлял ее сидящей на чьей-нибудь постели. Этот старик, воспитавший не одно поколение учеников и нашедший лекарства, исцеляющие от нескольких недугов, умер в концентрационном лагере, где нацистский офицер издевался над ним и каждый день доводил до полного изнеможения. Однажды приказал ему лечь на землю лицом вниз, расставив руки и ноги, а затем – быстро встать. Когда же старик замешкался, он принялся топтать его, и гвозди кованого сапога изранили руки профессора, который умер от заражения крови. Что еще сказать? Нравилась мне та девушка, как и всем, кто был с нею знаком. Добавлю лишь, что и она хорошо ко мне относилась. Правда, всякий мог бы сказать о себе то же самое, но другие помалкивали, а я позволил себе дерзнуть, и она вышла за меня замуж.

2

Ты спросишь: как дело было? Однажды пополудни вышел я из столовой и встретил Дину. Сказал ей: «Вы разве не заняты, сестрица?» Она отвечала: «Нет, я свободна». Я спросил: «Может, нынче день особенный?» Она ответила: «У меня сегодня выходной». Я спросил: «И как же вы проводите свой выходной?» Она отвечала: «Я еще не решила». Я сказал: «Позвольте дать вам совет». Она сказала: «Пожалуйста, господин доктор». Я сказал: «Дам вам совет, но только за вознаграждение, потому что в наше время ничего даром не дается». Она взглянула на меня и рассмеялась. А я сказал: «Есть у меня добрый совет, вернее, два. Во-первых, давайте съездим в Пратер, а во-вторых – сходим в оперу. И если поспешим, мы еще в кафе заглянуть успеем. Ну как, сестрица?» Улыбнулась она в ответ и согласилась.

Я спросил: «Когда пойдем?» Она ответила: «Когда захотите, тогда и пойдем». Я сказал: «Вот только покончу с делами и зайду за вами». Она сказала: «Когда бы вы ни пришли, я буду готова», – и ушла к себе. А я пошел разбираться с делами. Часом позже, когда я заглянул к ней, она была одета иначе. Эта перемена совершенно ее преобразила, и она показалась мне еще милее, ведь к ее прежней прелести в белом халате добавилась прелесть девушки в новом платье. Я сел, посмотрел на букет на столе, на узенькую кровать и спросил: «А знаете ли вы, Дина, как называются эти цветы?» И, не дожидаясь ответа, сам назвал по имени каждый цветок – и по-немецки, и на латыни. Тут меня охватило беспокойство, а вдруг тем временем привезут тяжелобольного и пошлют за мной. Поднялся я со стула и принялся ее поторапливать. На лице ее проступило огорчение. Я спросил: «Что вас огорчило, сестрица?» Она отвечала: «Я думала, вы чего-нибудь отведаете». Я сказал: «Сейчас мы пойдем, но если вы и впредь будете столь добры, я вернусь и буду есть и нахваливать все, что вы мне ни предложите, да еще добавки попрошу». Она спросила: «Могу я надеяться?» Я отвечал: «Считайте, что вам это обещано. Более того, я же сказал, что еще и добавки попрошу».

Мы вышли с больничного двора, и я сказал привратнику: «Видишь эту сестрицу, я ее похищаю». Поглядел он на нас с приятнью и сказал: «В добрый час, господин доктор! В добрый час, сестра Дина!»

Мы направились к трамвайной остановке. Подошел трамвай и оказался переполненным. Подошел другой, и мы решили ехать на нем. Дина поднялась в вагон, а я едва поставил ногу на ступеньку, как вожатый объявил: «Все места заняты». Вышла Дина и стала вместе со мной дожидаться следующего. Я подумал: глуп тот, кто говорит, будто не стоит огорчаться, если от тебя сбежали трамвай или девушка; мол, другой или другая не заставят себя ждать. Но ведь если рассуждать о девушке, разве найдешь другую, как Дина? А если говорить о трамвае, жаль мне было каждой потерянной минуты.

Подошел пригородный трамвай. Поскольку вагоны его были новыми и просторными и пассажиров в них почти не оказалось, мы сели и поехали. Только сели (а если верить часам, то по прошествии часа), как прибыли к конечной остановке, посреди приятной дачной местности с обилием садов и редкими домиками.

Мы шли вдоль улицы и беседовали о нашей больнице, о больных и о сестрах, о старшей сестре и врачах и о профессоре, который ввел правило при заболевании почек поститься один день в неделю, потому что, когда однажды, имея больные почки, он в Судный день постился, потом при анализе выяснилось, что белок в моче исчез. Еще мы вспомнили всех покалеченных войной и радовались, что в этом красивом месте не повстречали увечных. Тут я вдруг сказал: «Оставим больных и увечных и поговорим лучше о чем-нибудь веселом». Она согласилась, хотя по выражению ее лица я понял: она не уверена, что мы найдем тему для разговора.

Повстречались нам дети. Увидели нас, прервали свою игру и стали перешептываться. Я спросил: «Знаете ли вы, сударыня, о чем говорили эти дети? Они говорили: тили-тили-тесто, жених и невеста». Дина покраснела и сказала: «Возможно, и так».

Я сказал ей: «Разве вам больше нечего добавить?» Она спросила: «О чем вы?» Я ответил: «О словах детей». Она сказала: «Разве мне не все равно?» Я спросил: «А если бы это было все-рвез, что бы вы сказали?» Она удивилась: «Что вы имеете в виду?» Я набрался духу и сказал: «А если бы слова детей оказались правдой, то есть что мы и впрямь пара?» Она засмеялась и глянула на меня. Взял я ее за руку и сказал: «Дайте мне и другую вашу руку». Она протянула вторую руку. Я наклонился, поцеловал обе ее руки и посмотрел ей в глаза. Лицо ее залилось краской. Я сказал: «Принято считать, что устами младенцев и дураков глаголет истина. Слова младенцев мы уже слышали, теперь послушайте, что скажет вам один дурень, то есть я, которому вдруг открылась мудрость».

И, заикаясь, я начал: «Послушайте, Дина...» Не успел я высказать того, что у меня на сердце, как почувствовал себя счастливее всех на свете.

3

Не было в моей жизни лучших дней, чем дни от обручения до свадьбы. Если прежде я полагал, что брак заключается ради удовлетворения нужды мужчины в женщине, а женщины – в мужчине, то теперь узнал, что нет ничего прекрасней той нужды. Лишь в те дни я начал понимать, отчего поэты воспевают любовь, хотя что мне до них и до их стихов, коль не о Дине они сложены. Уж сколько раз я думал о том, как много сестер работает в больнице и как много женщин есть на свете, я же словно не знаю ни одной женщины и ни одной медицинской сестры, ибо все мои мысли обращены к ней. А когда довелось мне снова ее увидеть, я сказал себе: не иначе как лишился разума тот человек, коль причислил ее к прочим женщинам. И как я относился к ней, так и она ко мне. Но глубокая синевая ее глаз потемнела, словно заволоклась тучею, готовой пролиться слезами.

Однажды я задал ей вопрос. Она лишь поглядела на меня и не сказала ни слова. Я спросил снова. Повисла она у меня на груди и сказала: «Ты даже не знаешь, как ты мне мил и как сильно я тебя люблю». И улыбка тронула ее печальные губы, та самая улыбка, что сводила меня с ума своей сладостью и болью.

Я спрашивал себя: если она меня любит, откуда эта печаль? Может, она из бедной семьи? Но она отвечала: «Моя родня живет в достатке». Может, она дала обещание другому? Но она отвечала: «Я совершенно свободна». Стал я докучать ей расспросами, но она еще пуще ластилась ко мне и молчала.

Я, однако, решил разузнать о ее родне. Может, они были богаты, да разорились, и это ее печалит. Оказалось, что у каких-то ее родичей свои заводы, другие тоже известны, каждый в своей области, и на доходы не жалуются. Сердце мое возгордилось. Пусть я вырос в бедности, ведь я сын простого жестянщика, но одеваюсь я более чем прилично. Правда, она не обращает внимания на мои костюмы, разве что я сам не спрошу ее мнения. И стала она мне еще милее. Умом этого не понять, ведь и так уж вся моя любовь была ей отдана. А ее любовь вся принадлежала мне. Но к ее любви примешивалась печаль, и эта печаль отравляла мне душу.

Яд той печали разливался по всем моим членам, и я томился вопросом: что ее огорчает? Или такова природа всякой любви? Я упрямо добивался разъяснений: «В чем суть твоей печали?» Она обещала сказать, но все как-то избегала ответа. Я напомнил ей о данном обещании. Взяла она мою руку в свою и сказала: «Давай, дружочек, радоваться, не станем омрачать нашу радость». И при этом так вздохнула, что боль пронзила мне сердце. Я спросил: «О чем ты вздыхаешь, Дина?» Улыбнулась она и сказала сквозь слезы: «Прошу тебя, милый, ничего не говори». Я замолчал и больше не спрашивал. Но по-прежнему хотел знать причину и ждал, когда она сама пожелает открыть ее мне.

4

Однажды пополудни я зашел ее проведать. В уходе за больными выдался перерыв, и она сидела в своей комнатке и шила новое платье. Я приподнял край ее шитья, погладил материю и устремил взгляд прямо ей в очи. Она посмотрела на меня и сказала: «Был у меня прежде другой». Увидела, что я не постигаю смысла ее слов, и объяснилась. Сердце мое сжалось, в груди похолодело. Я ничего не сказал. Наконец промолвил: «Ничего подобного у меня и в мыслях не было». Сказал так и сел, дивясь и изумляясь. Я дивился своему спокойствию и изумлялся тому, что она могла уронить свою честь. Тем не менее я вел себя с ней, как раньше, будто она ничего не потеряла. И вправду, тогда я не счел, будто она что-то потеряла, и любил ее, как прежде. Увидела она, что я не переменялся – улыбка и хорошее настроение вернулись к ней, лишь глаза словно застлал туман, как у того, кто выбрался из мрака, да попал во тьму. Я спросил: «Что ж это за человек такой, который пренебрег тобою и не взял тебя замуж?» Но она уклонилась от ответа. Я же сказал: «Ты видишь, Дина, что я на тебя не сержусь, но мне просто любопытно узнать об этом. Скажи мне, дорогая, кто он?» Она отвечала: «Ну не все ли тебе равно, как его зовут?» Но я сказал: «И все же». Она назвала имя. Я спросил: «Он доцент или профессор?» Она сказала: «Служащий». Я начал размышлять: разные служащие заняты на предприятиях ее родственников; есть среди них высокопоставленные, знающие и

образованные, ученые и изобретатели. Как видно, самому значительному отдала она свое сердечко. Вообще-то, все равно, кто тот человек, которому женщина, любимая мною больше всего на свете, отдала свою любовь, но я желал польстить своему самолюбию и сказал себе: он, верно, большой человек и превосходит всех своих товарищей. А ей сказал: «Служащий. И что же он делает?» Она отвечала: «Он письмоводитель в правительственном учреждении». Я сказал: «Удивляюсь я, Дина, что мелкий чиновник, какой-то писарь, столь сильно пленил твое сердце, и более того – пренебрег тобою. Выходит, он с самого начала был тебя недостойн». Она потупила взор и промолчала. С тех пор я больше не напоминал ей о ее прошлом, как не вспоминал об ее вчерашнем платье. И если сам вспоминал о том, гнал воспоминание из своего сердца. И так вплоть до свадьбы.

5

Наша свадьба прошла, как у большинства молодых людей в нашем поколении, тихо, без помпы. У меня ведь нет родных, кроме, пожалуй, того родича, что подбил отцу глаз. А она с тех пор, как сблизилась со мною, отдалилась от всей родни. В те времена вообще не было принято устраивать пышное застолье. Одна власть ушла, другая пришла, а в междувластии – смута, растерянность и безумие. Те, кто еще вчера вершили судьбами, сегодня томились в заключении или скрывались за границей.

Итак мы встали под свадебный балдахин без родных и приглашенных, если не считать горстки случайных людей, зазванных служкой, – убогих прихлебателей, которые часом раньше сопровождали в последний путь усопшего, а теперь вот веселились на моей свадьбе. До чего ж унылы были их взятые напрокат костюмы, до чего ж нелепы высокие цилиндры, и с какими наглыми голодными глазами дожидались они конца церемонии, чтобы поскорее оказаться в пивной с вырученными на моей свадьбе деньгами. Я благодумствовал, и пусть все это было более чем странно, ничто не омрачало мою радость. Пусть другие шествуют под свадебный балдахин под руку со знатными и богатыми провожающими, я же пойду сочестаться браком в окружении бедняков, которые пришли заработать на кусок хлеба. Дети, что у нас родятся, уж, верно, не спросят меня: «Папа, кто у тебя был на свадьбе?», как я не спрашивал у отца, кто был гостем при его женитьбе. Я сунул руку в карман, достал несколько шиллингов и отдал служке, пусть добавит к положенной им плате. И тут же испугался, что они обступят меня и осыплют словами благодарности, даже приготовился сказать, что того не стою. Однако никто не подошел, но один оперся на трость, другой неестественно выпрямился, чтобы казаться выше ростом, а третий бросал на невесту совсем уж неприличные взгляды. Я спросил о нем служку. Служка ответил: «Эт-т-тот... – и как-то по-особенному протянул звук «т». – Был служащим, да выгнали его». Я покивал и промолвил: «Так, так», будто хотел показать двумя этими таками, что вопрос исчерпан. А служка тем временем отобрал четверых, и вручил им шесты, и накинул на шесты плат балдахина, и при этом толкнул кого-то, кто нагнулся, так что балдахин упал.

Стоя под балдахином, я вспомнил историю об одном человеке, которого его возлюбленная принудила сочетаться с ней браком. Пошел он и созвал на свадьбу всех мужчин, с которыми она была близка до него, чтобы не забывала своего прошлого, а еще чтоб себе насолить за то, что согласился на ней жениться. До чего ж отвратителен тот человек и до чего отвратительно то, что он сделал. Но мне он был мил, и поступок его мне нравился. И пока раввин зачитывал ктубу, я смотрел на собравшихся и пытался представить себе, что испытывали та женщина и ее приятели. И еще до того, как жена протянула мне пальчик для обручального кольца, и я проговорил: «Вот, ты посвящаешься мне...», я знал и понимал, что за человек был тот жених в час свадьбы.

6

После свадьбы мы отправились в деревню отметить радостное событие. Я не стану тебе рассказывать, что приключилось с нами в дороге, на вокзале и в поезде, не стану перечислять все горы и возвышенности, которые мы видели, а также ручьи, реки и родники, бившие из почвы долин и из горных расщелин, как делают все, повествуя о путешествии новобрачных. Можешь не сомневаться, были там и горы, и холмы, и родники, и реки, и кое-какие дорожные приключения тоже нас не миновали, но все это стерлось у меня из памяти, уж слишком врезались в нее события нашей первой ночи. И если ты не слишком устал, я тебе расскажу.

Прибыли мы в деревню и зашли в небольшую гостиницу, стоявшую среди садов, гор и ручьев. Поужинали с дороги и поднялись в отведенную нам комнату, поскольку я еще до свадьбы отправил хозяину гостиницы подобающую случаю телеграмму. Жена осмотрела комнату и задержала взгляд на букете алых роз. Я решил пошутить и сказал: «И кто это был так мил, что послал нам эти чудные розы?» «И кто?» – отозвалась жена, как если бы знала, что есть здесь кто-то помимо хозяев гостиницы, кто знает о нашем приезде. Я сказал: «В любом случае я собираюсь их убрать, потому что этот запах мешает спать. Или, может, оставить ради такого случая?» «Да, да», – отозвалась жена, и голос ее звучал, как у человека, который говорит и сам не знает, что говорит. Я спросил: «Разве ты не хочешь их понюхать?» Жена отвечала: «Да, да, хочу». Забыла и не понюхала. Подобная забывчивость была не свойственна Дине, которая любила цветы. Я напомнил ей, что она все еще не вдохнула их аромат. Она наклонилась к цветам. Я сказал ей: «Отчего это ты наклоняешься к цветам? Ведь ты могла поднести их к себе». Поглядела на меня, словно услышала что-то новое, и глубокая синева ее глаз потемнела, когда она произнесла с упреком: «А ты наблюдателен, мой милый». Я поцеловал ее долгим поцелуем, закрыл глаза и сказал: «Теперь, Дина, мы наконец одни».

Она медленно разделась и принялась расчесывать волосы, а тем временем сидела и смотрела на стол. Я наклонился, чтобы посмотреть, чем она занята и почему медлит, и увидел, что она читает брошюру, из тех, что можно встретить в католической деревне, и там написано: «Ждите Господа нашего во всякий час, Он придет».

Я приподнял ее подбородок и сказал: «Твой господин уже пришел, тебе ждать не надо», – и прильнул губами к ее губам. Подняла она на меня грустный взгляд и отложила брошюру в сторону. Я взял ее на руки, отнес на кровать и выкрутил фитиль лампы.

Цветы благоухали, и сладкое безмолвие окутало меня. Вдруг из соседней комнаты донесся звук шагов. Я отогнал от себя этот звук и постарался отвлечься, ведь какое мне дело, есть там кто-нибудь или нет. Я его не знаю, и он нас не знает. А если б и знал, мы ведь женаты по вере и по закону. И я с вящей любовью обнял жену, и радовался ей до глубины души, и знал, что она всецело принадлежит мне.

Дина лежит в моих объятьях, а я напрягаю слух, чтобы услышать, прекратилось ли хождение того человека, и слышу, что он все еще продолжает шагать. Эти шаги словно с ума меня свели, и мне подумалось, что это тот самый писарь, с которым моя жена познакомилась до свадьбы. Сердце мое дрогнуло, и я прикусил губу, чтобы недостойные речи не сорвались с моих уст.

Почувствовала это жена и спросила: «Что с тобой, друг мой?» Я ответил: «Ничего, ничего». Она сказала: «Я же вижу, что сердце твое смущено». Я ответил: «Я ведь сказал тебе». Она отвечала: «Как видно, я ошиблась». Рассудок мой помутился, и я сказал: «Нет, ты не ошиблась». – «И что же?»

Я ей рассказал. Она разразилась слезами.

Я спросил: «О чем ты плачешь?»

Она подавила рыдания и сказала: «Открой дверь и раствори окна – пусть все знают о моем грехе».

Я устыдился своих слов и стал ее успокаивать. Она успокоилась, и мы помирились.

7

С тех пор тот человек все время стоял у меня перед глазами, был ли я с женой или без жены. Если я сидел один, он занимал мои мысли, если говорил с нею, я напоминал ей о нем, а если видел цветок, вспоминал те алые розы. Кто знает, не такие ли цветы имел он обыкновение дарить моей жене, и оттого-то она не стала их нюхать в нашу первую ночь – постыдилась при муже нюхать цветы вроде тех, что носил ей ее прежний возлюбленный. Если она плакала, я ее успокаивал. Но, целуя жену примирительным поцелуем, я слышал звук другого поцелуя, того, что дарил ей другой. Мы – люди просвещенные, современные, мы требуем свободы для себя и для всех и каждого, а на деле мы хуже всякого ретрограда.

Так прошел первый год. Я хотел радоваться жизни с женою, но вспоминал того, кто умалил мою радость, и предавался печали. А бывала она весела, я говорил себе: отчего она радуется, не иначе вспомнила того мерзавца и радуется. Стоило мне упомянуть его в разговоре, как она разражалась слезами. Я ей говорил: «Отчего ты плачешь? Оттого, что трудно тебе слушать нелестные слова о том мерзавце?» А ведь я знал, что она давно вырвала его из сердца и даже думать о нем забыла, а если и вспоминала, то ему в осуждение и что никогда она его не любила, но его непомерная дерзость и ее минутное легкомыслие привели к тому, что она утратила над со-

бою контроль и пошла у него на поводу. Однако понимание дела не приносило мне душевного покоя. Я хотел понять характер того человека, узнать, что привлекло к нему скромную и порядочную юную девушку. Я принялся искать среди ее книг, может, найду обрывок его письма, потому что Дина имела привычку пользоваться письмами как книжной закладкой. Но я ничего не нашел. Сказал себе: возможно, она спрятала его письма в укромное место, ведь я все книги пролистал и ничего не обнаружил. Не хватило у меня духу шарить среди ее вещей. И это пробудило во мне ярость, ведь я выдаю себя за приличного человека, а мысли мои омерзительны.

Я ни с кем посторонним о ее прошлом не говорил, а потому стал искать помощи у книг и начал читать истории про любовь, желая понять природу женщин и образ действия их любовников. А когда романы нагнали на меня скуку, принялся за чтение криминальной хроники. Увидели это мои друзья, стали подшучивать надо мною: «Да ты никак сыщиком стать собираешься?» Второй год тоже не принес облегчения. И если случалось мне в какой-то день не вспоминать о том человеке, назавтра я с лихвой восполнял упущенное. Из-за причиненных мною огорчений жена заболела. Я лечил ее лекарствами и калечил речами. Я говорил ей: «В том, кто исковеркал тебе жизнь, ищи источник всех своих недугов. Он-то теперь забавляется с другими женщинами, а мне предоставил нянчиться с болящей». Тысячью раскаяниями каялся я после каждого упрека и тысячекратно повторял опять те самые слова.

В то время мы с женой стали бывать у ее родственников. И тут я поведаю тебе нечто странное. Я уже говорил, что Дина была из хорошей семьи, и родня ее – люди известные. И вот они и их жилища преисполнили меня гордости, из-за ее близких я и к ней стал испытывать большее уважение. Деда их вышли из гетто, а добились богатства и почестей. Богатство заслуженно венчало их славу, а слава добавляла красоты богатству, и даже во время войны, когда большинство тех, кто разбогател, наживался на нужде ближнего, руки этих людей не касались сомнительных денег и сами они не жирели от излишества, но получали ровно столько, сколько полагалось каждому. Были среди них люди красивые, каких мы рисовали себе в воображении, да не сподобились видеть воочию. А более всего – дамы. Ты ведь не знаешь Вены, а если и знаешь, то видел только таких евреек, вслед которым иноверцы презрительно перешептываются. Но если б они удостоились встретить тех, с которыми я встречался, прикусили б язык и помалкивали. Меня не беспокоит, что говорят о нас другие народы, оттого что нет у нас надежды снискать их расположение, но коль скоро я припомнил наше унижение, припомню и их восхищение, ведь ничто так не радует брата, как когда восхищаются его сестрами, отчего и он делается как бы значительнее.

Со временем я стал воспринимать родственников жены так, как если б они не имели к ней никакого отношения, словно это я их родня, а не она. Я размышлял и раздумывал: знали б они, какие муки я ей причиняю. И уже готов был открыть им свое сердце. Но когда понял, к чему побуждает меня мое сердце, начал сторониться их, а следом и они от меня отдалились. Город велик, и люди в нем заняты; если пропал кто-то из виду, никто его не разыскивает.

На третий год жена стала вести себя иначе. Если я вспоминал о том человеке, не обращала на мои слова внимания, и если называл его имя рядом с ее именем, молчала и ничего мне не сказывала, словно не о ней я вел речь. Гнев разгорался во мне, и я говорил себе: до чего же дурна эта женщина, до чего же она бесчувственна.

8

Как-то летним вечером мы сидели вдвоем за ужином. Уже несколько дней не было дождя, и город буквально плавился от жары. Воды Дуная обрели зеленоватый оттенок, и удушливый запах растекался по улицам. От стеклянных окон нашей веранды исходил сухой жар, томивший тело и душу. Я еще со вчерашнего дня ощущал боль в плечах, а сегодня она усилилась. Тяжесть в голове и сухость кожи под волосами довершали дело. Я провел рукой по волосам и подумал: пора стричься. Глянул на жену и заметил, что она отращивает волосы, хотя с тех пор, как женщины взяли в обычай носить мужскую стрижку, она стриглась коротко. Я сказал себе: для моей головы и короткие волосы невыносимы, а эта отращивает волосы, что твой павлин, и даже не спросит меня, идет ли ей. Правду сказать, длинные волосы украшали Дину, а вот мое поведение красивым не назовешь. Я отодвинулся от стола, как если б он сдавливал мне живот, отщипнул хлеба из середины буханки и принялся жевать. Уже несколько дней я не напоминал ей о том человеке, и излишне говорить, что и она его не поминала. В то время я с ней почти не разговаривал, а если разговаривал, то без раздражения.

Неожиданно я сказал: «Вот что я подумал».

Она кивнула и сказала: «Да, да, я так и знала». Я сказал ей: «Неужто ты знаешь, что скрыто в тайниках моей души? Если так, поведай мне».

И она прошептала: «Развод».

Говоря так, подняла ко мне лицо и с грустью на меня посмотрела. Сердце во мне оборвалось, и не стало духу. Я сказал себе: стыдись, убогий; как ты ведешь себя с женой, зачем ты ее огорчаешь. А вслух спросил негромко: «Откуда ты знаешь, что у меня на сердце?»

Она ответила: «А чем же я занята все эти дни? Да ведь я сижу и о тебе размышляю, друг мой».

«Так ты согласна?»

Подняла на меня взор и сказала: «Насчет развода?»

Я потупил взгляд и кивнул.

Она сказала: «Хочу я этого или не хочу, я буду рада сделать все, что ни попросишь, лишь бы облегчить твои муки».

«Даже ценой развода?»

«Даже ценой развода».

Знал я, какое сокровище теряю. Но слово было сказано, а желание сдержат гнев помutilо мой рассудок, и я не мог рассуждать здраво. Всплеснул руками и сказал со злобой: «Ну вот и прекрасно».

Прошло несколько дней. Я не поминал перед нею ни о разводе, ни о том, кто навлек на нас беду. Я говорил себе: три года прошло с тех пор, как она вышла за меня замуж, может, пора уже вырвать из сердца ту историю. А если б я взял ее вдовой или разведенной,

разве подвергнул бы нареканиям? Вот и тут надо считать, что я женился вроде как на вдове или на разведенной.

И коль скоро я пришел к такому суждению, принялся терзать себя за каждый день причиненных ей огорчений и решил непременно обращаться с ней по-доброму. Я тогда совсем другим человеком сделался и почувствовал, как во мне пробуждается та же любовь, что в начале нашего знакомства. Я уже полагал было, что все совершается по желанию человека и по его воле: захочет он – впускает к себе в сердце гнев, враждебность и ревность, а захочет – живет со всеми в мире. Если так, зачем мы сердимся и сами себе зло причиняем, мы ведь можем творить добро и жить в радости. Но тут случилось то, из-за чего все опять повелось по-прежнему.

9

Что же произошло? Однажды привезли в больницу нового пациента. Я его осмотрел и передал сестрам, чтобы выкупали и уложили в постель. К вечеру пошел проверить больных. Дошел до его кровати и увидел на изголовье листок с указанием имени. Так я узнал, кто он.

Что поделать? Я врач, и я лечил его. Даже, если хотите, чрезмерно усердствовал, так что другие больные стали ему завидовать и прозвали его «пациент нашего доктора». Это прозвище ему и в самом деле пристало, ведь я возился с ним при всякой необходимости и даже когда не было никакой в том надобности. А сестрам я говорил, что обнаружил у него редкое заболевание и хочу эту болезнь исследовать, велел им отменно его кормить и порой добавлял к его рациону стакан вина, чтобы пребывание в больнице ему нравилось. И еще попросил сестер не пенять ему, если позволит себе кое-какие вольности против заведенного у нас распорядка.

Так он лежит в больнице, ест, пьет и живет в свое удовольствие. А я ежедневно его осматриваю и спрашиваю, хорошо ли он спал, доволен ли питанием. Прописываю ему лекарства и нахваливаю его организм, мол, такой организм создан для долголетия. А он слушает, и радуется каждому моему слову, и наслаждается жизнью, как червь после дождя. Я говорю ему: «Если вы привыкли курить, пожалуйста. Сам я не курю, и если вы меня спросите, доброе ли дело курение, я вам отвечу: плохое, поскольку сильно вредит здоровью. Но если вы привыкли курить, я вам не препятствую». И еще делаю ему всяческие поблажки, лишь бы пребывание в больнице ему нравилось. Я же размышляю в сердце своем: вот человек, на которого я бы и слова лишнего не потратил, а я о нем пекусь, и все из-за того происшествия, которое и вспомнить трудно, и забыть нельзя. Смотрю я на него и пытаюсь понять, что привлекло его в Дине и что привлекло Дину в нем. И оттого что я столько им занимался, усвоил себе некоторые его жесты и движения.

Поначалу я обо всем этом жене не рассказывал, да только он будто сорвал с моих уст печать молчания и словно сам о себе поведал. Выслушала жена и никакого интереса не выказала. Вроде бы мне это только на руку, но я остался недоволен, хоть и знал: поведи она себя иначе, я бы точно разгневался.

Прошли дни, он выздоровел, и настала пора выписывать его из больницы. Я же задержал его еще на день, и еще, и снова настав-

лял сестер, чтобы обращались с ним по-доброму и не торопили с выпиской. А дело было после войны, и содержать больных было нелегко, тем более выздоравливающих, тем более здоровых, так что я отдавал ему то, что мне приносили крестьяне. Он же сидел, ел, пил и благоденствовал, читал газеты и разгуливал по парку, играл с больными в разные игры и перебрасывался шутками с сестрами. Даже прибавил в весе и сделался здоровее тех, кто за ним ухаживал, так что задерживать его дольше в больнице стало никак нельзя. Я велел устроить ему на прощанье достойную трапезу и подготовил к выписке.

После трапезы он зашел проститься. Я увидел жирную складку, свисавшую у него с подбородка, и заплывшие жиром глаза, как у женщины, которая пренебрегла всем ради удовольствия есть и пить вволю. Я стоял за своим столом и начал перебирать бумаги, будто ищу что-то. Затем взял маленькую трубочку и стал ее рассматривать. Пока я пытался произвести впечатление занятого человека, вошли две сестры, одна, чтобы что-то спросить, другая – попрощаться с любимцем доктора. Я вдруг поднял голову, словно вспомнил, что меня ждут, и издал звук изумления, как, бывало, делала Дина, когда видела, что ее дожидаются. Я смотрел на выздоровевшего, на жирную складку под подбородком и думал: «Ты вот не знаешь, кто я, а я знаю, кто ты. Ты тот, кто погубил меня и отнял жизнь у моей жены». Гнев загорался во мне, и от сильного негодования появилась резь в глазах.

А он протянул мне руку с особым смирением и стал бормотать слова благодарности за то, что я избавил его от смерти и вернул к жизни. Я протянул ему кончики пальцев, небрежно и надменно, и тут же обтер их полою халата, словно прикоснулся к дохлому гаду, и отворотился от него, как от чего-то мерзкого, и вышел. Я чувствовал на себе взгляды сестер и сознавал странность своего поведения, ведь никакой причины подозревать его в чем-либо у меня не было.

Я приступил к работе, но голова и сердце мои были далеко. Поднялся я в комнату врачей и попросил коллегу заменить меня. Сказал ему, что вызван в суд давать показания по делу одного преступника и отложить это никак невозможно. Пришла сестра и спросила, не заказать ли мне такси. Я ответил: «Конечно, сестра, конечно». Пока она ходила в комнату с телефоном, я ушел из больницы, как если бы вовсе лишился рассудка.

По пути мне попала распивочная, и я решил зайти выпить, чтобы утопить свое лихо в вине, как говорят удрученные люди. Рассудок мой слегка успокоился, и я сказал себе: беды приходят и уходят, и эта моя беда тоже уйдет. Однако мой рассудок успокоился ненадолго и лишь для того, чтобы возмутиться с новой силою. Я решил прогуляться. По прошествии часа и еще двух часов остановился и понял, что ходил кругами, да так никуда и не пришел.

10

Я вернулся домой и обо всем рассказал жене. Она выслушала и ничего не ответила. Сердце мое преисполнилось гневом, оттого что она сидит себе и молчит, словно нет в это ничего особенного.

Тут я склонил голову на грудь, как делал он, и, подражая его голосу, произнес: «Благодарю вас, господин доктор, за то, что вы спасли меня от смерти и вернули к жизни», и еще сказал ей, своей жене: «Такой у него голос, и так он стоит», желая выставить его в невыгодном свете. Пусть она видит, как мелок тот, кого она мне предпочла и кому отдала свою любовь прежде, чем мы с нею познакомились. Поглядела на меня жена так, словно все это не стоит ее времени и внимания. Я же продолжал вглядываться в ее лицо – а вдруг увижу признаки радости, оттого что тот никчемный вылечился. Но не увидел в ней никакого признака радости, как не видел прежде ни тени огорчения при рассказе о его болезни.

По прошествии двух-трех дней острота пережитого притупилась и больше не причиняла мне боли. Я лечил больных и болтал с сестрами, а по окончании работы немедленно возвращался домой, к жене. Бывало, я просил ее почитать мне что-нибудь из ее книг, и она соглашалась и читала. Она читает, а я сижу, гляжу на нее и говорю себе: вот то лицо, при виде которого у людей разглаживаются морщины и исчезают раздражение и гнев. Довольный, я провожу рукой по своему лицу и снова смотрю на нее. А бывало, мы приглашали какого-нибудь приятеля на чашечку кофе или на ужин. И снова беседовали обо всем, о чем принято беседовать, и я снова убеждался в том, что есть в мире еще что-то, кроме неприятностей с женщинами. И часто укладывался в постель с умиротворенным рассудком и в добром расположении духа.

Однажды ночью во сне явился ко мне тот человек, и лицо его показало мне несколько болезненным и – приятным. Я устыдился своих недобрых мыслей и решил более на него не сердиться. Он склонился передо мною и сказал: «Чего вы от меня хотите? Или из-за того, что вы принудили меня, вы мне зла желаете?»

Вечером следующего дня мы принимали двух знакомых, мужа и жену, которые нам обоим нравились. Он – в силу своих добрых качеств, а она – из-за голубых сияющих глаз и высокого лба, который вводил вас в заблуждение, заставляя думать, что за ним кроется великая мудрость, и из-за золотых кудряшек, подпрыгивавших на ее хорошенькой головке, и из-за ее голоса – голоса женщины, обуздывающей свои желания. Около трех часов часов провели мы вместе и не заметили, как прошло время. Он рассказывал о последних событиях, а она помогала ему сиянием своих глаз.

Когда гости ушли, я сказал жене: «Расскажу тебе сон».

«Сон?» – в изумлении воскликнула жена и печально на меня посмотрела, и еще раз повторила шепотом: «Сон...», потому что не в моем обычае было рассказывать сны, и, как кажется, за все те годы я вообще ни разу снов не видел.

Я сказал ей: «Я видел сон», – и едва вымолвил это, как внезапный страх напал на меня.

Жена сидела, устремив на меня глаза, я же стоял и рассказывал ей свой сон. Плечи ее вздрогнули, тело задрожало мелкой дрожью. Протянула она ко мне руки, обхватила меня за шею и прижала к себе. И я тоже прижал ее к себе. Так мы стояли обнявшись, в любви и сострадании, и все то время этот человек стоял у меня перед глазами, и я слышал, как он говорит: «Или из-за того, что вы принудили меня, вы мне зла желаете?»

Я оторвал от себя руки жены, и великая печаль наполнила мне сердце. Я лег в постель и стал думать обо всем спокойно, без раздражения, пока не задремал и не погрузился в сон.

Наутро мы встали с постели и вместе позавтракали. Поглядел я на жену и увидел, что лицо ее не изменилось. В душе я поблагодарил ее, что не попрекнула меня за вчерашнее. Вспомнились мне все горести и страдания, на которые я обрек ее после нашей женитьбы, ведь дня не было, чтобы я не портил ей кровь, не обижал и не оскорблял бы ее, а она безропотно все сносила. Сердце мое преисполнилось любовью и жалостью к этой несчастной, так мною терзаемой, я решил положить конец ее мучениям и окружить жену только добром. И следовал своему решению один день, и другой, и третий.

11

Я уже стал думать, что все наладилось. Но на самом деле ничего не наладилось. С того дня, как я помирился со своей душой, угроза миру пришла из другого места. Жена вела себя со мною так, будто я для нее посторонний, а ведь все мои усилия и старания были ради ее же пользы. «До чего бесчувственная женщина!» – говорил я себе. Однако она все чувствовала.

Однажды сказала мне: «Лучше бы я умерла».

«Почему?»

«Почему? – ты спрашиваешь». И в морщинках у ее губ мелькнуло что-то вроде усмешки. Сердце мое упало.

Я прикрикнул: «Не будь дурочкой!»

Вздохнула и сказала: «Ах, друг мой, я-то не дурочка».

«Выходит, это я простофиля».

«Да и ты не простак».

Я повысил голос и спросил: «Коли так, чего же ты хочешь?»

Она ответила: «Чего я хочу? Того же, чего и ты хочешь».

Я развел руками: «Да ничего я не хочу».

Устремила она на меня взор и сказала: «Если ты ничего не хочешь, значит, все в порядке».

«В порядке?» – засмеялся я высокомерно и презрительно.

Она сказала: «Знаешь, друг мой, не нравится мне этот смех».

«Коли так, что же мне делать?»

«Делай то, что собирался делать».

«То есть?»

«То есть... зачем повторять то, что тебе и так известно».

Я сказал ей: «Не знаю, что ты имеешь в виду. Но ты, поскольку знаешь, скажи мне».

Она прошептала: «Развод».

Я возвысил голос: «Значит, ты принуждаешь меня дать тебе развод».

Покачала она головой и сказала: «Если ты полагаешь, что для тебя будет лучше считать, будто я принудила тебя к разводу, я согласна».

Я спросил: «То есть?»

Она сказала: «Зачем напрасно повторять одно и то же. Сделаем то, что предначертано нам свыше».

Я рассердился и сказал с издевкой: «Пред тобою даже Небеса как открытая книга, и ты знаешь, что там написано. Я врач, для меня существует только то, что открыто глазу, но вам, сударыня, ведомо то, что начертано на небесном своде. И кто ж научил вас этой науке, уж не тот ли мерзавец?»

Дина сказала: «Замолчи, прошу тебя, замолчи».

Я сказал ей: «Не стоит тебе так волноваться. И что я такого сказал?»

Но она встала, вышла в другую комнату и заперла дверь на ключ.

Я подошел к двери и попросил открыть, но она не открыла. Я сказал: «Вот, я уйду, и весь дом в твоём распоряжении. Нет нужды запираяться». Когда она не ответила, я испугался, а вдруг она примет снотворное и покончит с собою... Я стал ее молить и упрашивать, чтобы открыла, но она не открыла. Я заглянул в замочную скважину, а сердце мое стучало в груди сильно-сильно, словно убивало кого-то. Так я стоял перед запертой дверью, пока не иссяк день и стены не подернулись мраком.

Когда стемнело, она вышла из комнаты. Бледнее мертвеца была. Я взял ее руки в свои, и их мертвенный холод морозом ожег мне пальцы. Она не отняла рук, словно они потеряли чувствительность.

Я уложил ее в постель и успокоил ей сердце каплями, а потом не отходил от нее, пока она не уснула. Я смотрел на безупречные черты ее лица и говорил себе: «Как прекрасен мир, в котором пребывает эта женщина, и до чего трудна выпавшая на нашу долю жизнь. Я склонился, чтобы поцеловать ее, но она покачала головой: нет. Я спросил: «Ты что-то сказала?» Она ответила: «Нет». И я не знал, почувствовала ли она, что я рядом, или во сне сказала. Не знал, как быть, и больше к ней не приближался. Но всю ночь просидел у ее постели.

Назавтра я пошел на работу и вернулся к полудню. По мудрости ли, нет ли, но я ничем не поминал вчерашнего. И она тоже не вспоминала. Так же было и на следующий день, и на третий. Я уже думал, что все вернулось к прежнему. И при этом знал, что если я желаю многое забыть, она ничего не забывает.

В те дни она стала выглядеть лучше и несколько изменила свои привычки. Прежде имела обыкновение встречать меня, когда я возвращался домой, а теперь не встречала. Теперь порой оставляла меня одного, и по возвращении я не заставал ее дома.

Как раз в те дни выпала годовщина нашего обручения. Я сказал ей: «Давай устроим себе праздник и поедем туда, куда мы ездили в самом начале». Она отвечала: «Это невозможно». – «Почему?» Потому что ей необходимо быть в другом месте. Я сказал: «Позволь-ка узнать, куда ты направляешься?» Она сказала: «Есть тут больная, за которой я ухаживаю». Я спросил: «Что это вдруг?» Она сказала: «Не все, что человек делает, делается вдруг. Я уже давно рассудила, что должна что-то делать, работать». Я сказал: «Разве тебе недостаточно, что я работаю?» Она отвечала: «Прежде мне этого было достаточно, а теперь недостаточно». – «Отчего это?» – «Отчего? Если ты сам не знаешь, я не могу тебе объяснить». Я сказал: «Неужели дело настолько сложно, что его и объ-

яснить нельзя». Она ответила: «Объяснить нетрудно, да сомневаюсь я, что ты захочешь понять». – «Почему это?» – «Потому что я хочу зарабатывать на жизнь». Я спросил: «Неужели тебе не хватает на жизнь дома, что ты ищешь заработка на стороне?» Она сказала: «Сегодня у меня есть на что жить, но кто знает, что будет завтра». Я спросил: «Что это вдруг?» Она отвечала: «Я уже говорила тебе, что не все, что человек делает, делает вдруг». Я сказал: «Не понимаю я, о чем ты говоришь». Она отвечала: «Ты-то понимаешь, но предпочитаешь говорить: не понимаю». Я покачал головой в отчаянии и сказал: «Пусть будет так». Она сказала: «Это и в самом деле так». Я заметил: «Не силен я в диалектике». Она ответила: «Ты не силен, да и я не слишком, оттого лучше нам молчать. Ты занимайся своим делом, а я буду заниматься своим». Я сказал: «Что мне делать, я знаю, а вот что ты собираешься делать, мне неизвестно». Она отвечала: «Если не знаешь сегодня, узнаешь завтра».

Однако успеха в делах она не добилась. А если и добилась, то ни гроша не заработала. Она ухаживала за одной парализованной девушкой, дочерью бедной вдовы, и плату за свою работу не получала, более того, сама помогала ей деньгами и приносила цветы. В те дни силы Дины были на исходе, как у больной, ей самой помощь требовалась, не то что других обслуживать. Однажды я спросил ее: «Доколе ты еще собираешься ухаживать за своей больной?» Посмотрела на меня и сказала: «Это ты меня как врач спрашиваешь?» Я ответил: «Какая разница, как врач или как твой муж?» Она сказала: «Если как врач, я не знаю, что тебе ответить, а если из других соображений ты спрашиваешь, не вижу необходимости отвечать». Я притворился, будто она пошутила, и засмеялся. Отвернулась от меня и, оставив одного, ушла. В тот же миг смеха моего как не бывало, и больше я не смеялся.

Я сказал себе: это все от настроения, пройдет, и при этом знал, что все мои надежды напрасны. Вспомнил, что прежде говорил с ней о разводе, и еще вспомнил, как она сказала: хочу я этого или не хочу, я буду рада сделать все, что ни попросишь, лишь бы облегчить твои муки, даже ценой развода. И вот я сказал себе: ничего не поделаешь, единственное, что нам остается, это развод. Едва закралась эта мысль мне в сердце, я стал о ней размышлять, как размышляет человек над трудной задачей. Но Дина была права, нам следует делать то, что предначертано свыше. Не прошло и нескольких дней, как я воочию увидел и понял разумом то, чего не видел и не понимал прежде. Не откладывая, посоветовался со своим сердцем и решил отпустить Дину. Детей у нас не было, я боялся заводить детей: как бы они не оказались похожими на того человека. Выполнив все формальности, я дал ей разводное письмо.

Так мы и расстались. Но расстались лишь внешне, потому что в душе моей, дружище, поныне хранится память об ее улыбке и о той бездонной синеве ее очей, что поразила меня при первой встрече. Порой по ночам я приподнимаюсь на кровати, как, бывало, больные, за которыми она ухаживала, протягиваю вперед руки и зову: «Сестрица, сестрица, поди ко мне!»

Перевела с иврита Зоя Копельман